

Аркадий Петрович Гайдар

Пусть светит

Рассказы

Аркадий Гайдар

Пусть светит

Аркадий Гайдар

Пусть светит

Отец запаздывал, и за стол к ужину сели трое: босой парень Ефимка, его маленькая сестренка Валька и семилетний братишка по прозвищу Николашка-баловашка.

Только что мать пошла доставать кашу, как внезапно погас свет.

Мать из-за перегородки закричала:

- Кто балуется? Это ты, Николашка? Смотри, идоленок, добалуешься!

Николашка обиделся и сердито ответил!

- Сама не видит, а сама говорит. Это не я потушил, а, наверное, пробки перегорели.

Тогда мать приказала:

- Пойди, Ефимка, притащи из сеней лестницу. Да поставь сначала сахарницу на полку, а то эти граждане в темноте разом сахар захапуют.

Вышел Ефим в сени, смотрит: что за беда? И на улице темно, и на станции темно, и кругом темно. А тут еще небо в черных тучах и луна пропала.

Забегал Ефим в комнату и сказал:

- Зажигайте, мама, коптилку. Это не пробки перегорели, а, наверное, что-нибудь на заводе случилось.

Мать пошла в чулан за керосином, а Ефимка, разыскивая сапоги, торопливо полез под кровать. Левый сапог нашел, а правый никак.

- Наверное, это вы опять куда-нибудь задевали? - спросил он у притихших ребяташек.

- Это Валька задевала, - сознался Николашка. - Она стащила сапог за печку, воткнула в него веник и говорит, что это будет сад.

- Ефимка, а Ефимка, - тревожным шепотом спросил Николашка, - что это такое на улице жужукает?

- Я вот вам пожужукаю, - ответил Ефимка. И, выкинув из сапога березовый веник, он с опаской сунул руку внутрь голенища, потому что уже однажды эта негодница Валька, поливая свой сад, вкатила ему в сапог целую кружку колодезной воды. - Я вот ей хворостиной пожужукаю!

Но тут и он замолчал, потому что услышал сквозь распахнутое окно какое-то странное то ли жужжание, то ли гудение. Он натянул сапоги и выскочил из комнаты. В сенях столкнулся с матерью.

- Ты куда? - вскрикнула мать и крепко вцепилась в его руку мокрыми от керосина пальцами.

- Пусти, мама! - рванулся Ефимка и выбежал на крыльцо.

Оглянувшись, он торопливо затянул ремень, надел кепку и быстро побежал темной улицей через овражек, через мостик в гору - в ту сторону, где стоял их небольшой стекольный завод.

В сенях что-то стукнуло. Кто-то впотьмах шарил рукой по двери.

- Кто там? - спросила мать, а Валька и Николашка подвинулись к ней поближе.

- Не спишь, Маша? - послышался дребезжащий старческий голос.

И тогда мать узнала, что это соседка Марфа Алексеевна.

- Какой тут сон, - быстро заговорила обрадованная мать. - И свету нет, и аэроплан гудит, и самого нет. А тут еще Ефимка так и рванулся из рук, как будто бы его кипятком ошпарили.

- Комсомольцы, - с грустью проговорила бабка.

Слышно было, как отодвинула она табуретку и положила руку на клеенчатый стол.

- Вот так и у меня Верка, как потух свет да услышала она, что гудит, кинулась сразу к двери. Я ей говорю: "Куда ты, дура?.. Ну мужики, ну парнишки... А ты ведь еще девчонка... Шестнадцать годов". А она постояла, подумала. "Бабуня, говорит, не сердись. Это белый аэроплан. Это тревога. У нас сбор... У меня там товарищи". Схватила в сених с гвоздя сумку да как кошка прыгнула. Вот, Маша! Только я ее и видела.

- Сумку-то какую взяла? - спросила мать.

- А бог ее знает! Недавно притащила, сначала в комнате повесила. Да я сказала: "Убери, Верка, в сени, а то вся квартира карболкой пропахнет".

- Это военно-санитарная сумка, - вставил Николашка. - Это когда пробьет человека пулей или рванет его бомбой, вот тогда из этой сумки достают и завязывают. Я уже все узнал.

- Ты да не узнаешь! - вздохнула мать и, услышав, как загромыхал он табуреткой, спросила: - Ну и куда ты, Николашка, лезешь? Ну и что тебе не сидится? Только Валька задремала, а он - грох... грох...

- Мама, - отодвигаясь от подоконника, уже тише спросил Николашка, - а что это такое далеко бубухает: бубух да бубух?

- Где, паршивец, бубухает? - тихо переспросила вздрогнувшая мать.

И от этих глупых Николашкиных слов руки ее ослабли, а маленькая спящая Валька показалась ей тяжелой, как большой камень. Она подвинулась к окошку.

И точно, как порывы шального ветра, как отголоски уже недалекой грозы, что-то вздрагивало, затихало, но это был не ветер и не гроза, это глухо и часто бабахали боевые орудия.

...Чем ближе подбегал Ефим к заводу, тем чаще и чаще попадались ему торопящиеся люди, хлопали калитки, громыхали ворота и тарактели телеги. Поднимаясь в гору, он нагнал комсомолку Верку.

- Бежим скорее, Верка. Ты не знаешь, где это бабахают?

- погоди, Ефим! Подержи-ка сумку. Я чулок поправлю. Я уже спать собралась, вдруг гудит. Насилу от бабки вырвалась.

- Что чулок, - ответил Ефим, забирая пахнувшую лекарствами сумку. - Что чулок! У меня и вовсе один сапог на босу ногу. Скорей бежим, Верка.

У поворота они столкнулись с двумя. Один был незнакомый, длинный, с винтовкой, другой - без винтовки, с наганом.

И тот, который с наганом, был член ревкома Семен Собакин.

- Стойте, - приказал Собакин. - Вы куда? На сбор? Там пока и без вас обойдутся. Бегите скорее на перекресток Малаховской дороги. Сейчас пойдут подводы для беженцев. Сидите, дежурьте и считайте. Пятнадцать подвод сразу на Верхние бугры, и пусть ждут у школы. Десять - по Спасской в самый конец. А все остальные к ревкому.

- Дай винтовку, Собакин, - попросил Ефим. - Раз я дежурный, то давай винтовку.

- Дай ему, Степа, - обернулся Собакин к своему длинному сутулому товарищу.

- Не дам, - удивленно и спокойно ответил товарищ. - Вот еще мода!

- Дай, а я на сборе сейчас же скажу, чтобы тебе другую выдали.

- Не дам! - уже сердито ответил товарищ. - Другая то ли еще будет, то ли нет. А эта на месте. - И, хлопнув ладонью по прикладу, он ловко закинул винтовку через плечо.

- Ну, хоть штык дай, - рассердился торопящийся Собакин.

- Это дам, - согласился товарищ.

И, сняв с пояса, он протянул Ефиму тяжелый немецкий штык в блестящих ободренных ножнах.

- Как бритва, - добродушно сказал он нахмурившемуся Ефиму. - Сам своими руками целый час точил.

...Они добежали до перекрестка темной и пустой дороги.

- Сядем под кустом, - тихо сказал Ефим. - Заодно я в сапог травы натолкаю, а то как бы и вовсе не сбить ногу без портянки.

Свернули и сели. Ефим сдернул сапог и, ощутив рукою траву, спросил:

- А что, Верка, нет ли у тебя в сумке широкого бинта или марли? Тут не трава, а кругом сухая полынь.

- Вот еще, Ефимка! И бинт есть и марля есть, только я не дам: это для раненых, а не на твои портянки.

- Пожалела, дуреха, - рассердился Ефим и, осторожно ступая, пошел в кусты.

Он ожег руку о крапиву. Наколол пятку колючкой. Наконец, нащупав большой лопух, он сел на землю и стал завертывать босую ногу в широкие пыльные листья.

Он обул сапог и задумался. Еще только позавчера он спокойно шел по этой дороге. Вот так же булькал ручей. Вот так же тихо насвистывала пичужка. Но не грохали тогда орудия. Не полыхало на черном небе зарево и не гудел издали тяжелый церковный колокол: доон!.. доон!..

- Казаки, - пробормотал он, вспомнив клубные плакаты, - белые казаки.

И вдруг, как будто бы только сейчас, впервые за весь вечер, он по-настоящему понял, что это уже не те безвредные намалеванные казаки, что были приляпаны вместе с плакатами на стенах ревкома и в клубе, а что это мчатся живые казаки на быстрых конях, с тяжелыми шашками и с плетеными нагайками.

Он вскочил и пошел к Верке.

- Верка, - сказал он, крепко сжимая ее руку, - ты что? Ты не бойся. Скоро пойдем на сбор, там все наши.

- Дай ножик, Ефимка. Почему ты так долго?

- На, возьми, - и Ефим протянул ей холодный маслянистый клинок немецкого штыка.

В темноте что-то хрустнуло и разорвалось.

- Бери, - сказала Верка. - Завернешь ногу, лучше будет. Слышишь, стучит? Это, кажется, наши подводы едут.

- Вот глупая! - выругался Ефим, почувствовав, как вместе с клинком она сунула ему в руку что-то теплое и мягкое. - Вот дура. И зачем ты, Верка, свой шерстяной платок разрежала?

- Бери, бери. На что он мне такой длинный? А то собьешь ногу... Нам же хуже будет.

Пятнадцать подвод пошли на Верхние бугры. Десять - до конца Спасской. Но последние подводы сильно запаздывали. И только к полуночи позабытые всеми Ефим и Верка вернулись к ревкому.

Орудия гремели уже где-то совсем неподалеку. Вблизи загорелась старая деревня Щуповка. Свет опять погас.

Захлопывались ставни, запирались ворота, и улицы быстро пустели.

- Вы что тут шатаетесь? - закричал появившийся откуда-то Собакин.

- Собакин! Чтоб ты сдох! - со злобой крикнул побелевший Ефимка. - Кто шатается? Где отряд? Где комсомольцы?

- погоди, - переводя дух, ответил узнавший их Собакин. - Отряд уже ушел. Вы с подводами? Берите две подводы и катайте скорее на Песочный проулок. Там остались женщины и ребята. Сейчас Соломон Самойлов прибежал. Все уехали, а они остались. Оттуда поезжайте прямо к новому мосту. За мостом сбор. Дальше - на Кожуховку. А там наши.

Собакин быстро кинулся прочь и уже откуда-то из темноты крикнул Ефиму:

- Смотри... ты... боевой! Вы отвечать будете, если беженцы с проулка не попадут на место.

- Верка, - пробормотал Ефим, - а ведь это наши остались. Это Самойловы, Васильевы, мать с ребятами, твоя бабка.

- Бабке что? Она старая, ей ничего, - шепотом ответила Верка. - А Самойловым плохо, они евреи.

Крепко схватившись за руки, они побежали туда, где только что оставили две подводы. Но, сколько они ни бегали, сколько ни кричали, подводчик как провалился.

- Едем сами, - решил Ефим. - Прыгай, Верка. А ждать больше некогда.

...На повороте они чуть не сшибли женщину. В одной руке женщина тащила узел, другою держала ребенка, а позади нее, всхлипывая, бежали еще двое.

- Ты, куда, Евдокия? Это за вами подвода! - крикнул Ефим. - Стой здесь и никуда не беги. А мы сейчас воротимся.

Еще не доезжая до дома, он услышал крики, плач и ругань.

- Соломон, где ты провалился? - закричала старая бабка Самойлиха. И с необычайной для ее хромой ноги прытью она вцепилась в Ефимкину телегу.

- Это я, а не Соломон, - ответил Ефим. - Тащите скорее ребят и садитесь.

- Ой, Ефимка! - закричала обрадованная мать.

И тотчас же бросилась накладывать на телегу мешки, посуду, корзинки, ребят, подушки, все в одну кучу.

- Мама, не наваливайте много, - предупредил Ефим. - На дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

- Соломон где? - уже в десятый раз спрашивала Самойлиха. - Он побежал лошадей доставать. Куда же без Соломона?

- Не видел я Соломона. Это мои подводы, - ответил Ефим, и, забежав во двор, он отвязал с цепи собачонку Шурашку.

Вернувшись к первой подводе, он увидел, что мать взваливает ножную швейную машину.

- Мама, оставьте машину, - попросил Ефим. - Где же место? Ведь у меня на дороге еще тетка Евдокия с ребятами.

- Что, Евдокия?.. Я вот тебе оставляю! - угрожающе и тяжело дыша, ответила мать. - Я тебе, дьяволу, покажу, как бегать... - И, кроме машины, она бухнула на телегу помятый медный самовар.

- Бросьте машину! - с внезапной злобой вскрикнул Ефимка. И, вскочив на телегу, одним пинком он сшиб самовар, потом рванул за край машину и сбросил ее на дорогу.

- Верка! - крикнул он, отталкивая оцепеневшую мать. - Бери вожжи. Сейчас трогаем.

Трах-та-бабах!.. - грохнуло где-то уже совсем неподалеку.

- Соломон! - застонала старуха Самойлиха. - Как же мы без Соломона?

- Некогда Соломона... Найдется... Не маленький... Верка, поехали.

Трах-та-бабах!.. - грохнуло где-то еще ближе.

Быстро захватив на перекрестке Евдокию Васильеву с ребяташками, Ефим с силою ударил вожжами.

И тогда обе телеги, гремящие чайниками, корзинами, кастрюлями, жестянками, рванулись вперед по пыльной опустевшей дороге.

Трах-та-бабах!.. - ударило еще три раза подряд.

Ошалелые кони шарахнулись в сторону. Собачонка Шурашка метнулась в проулок. А Ефимка рванул вправо, потому что возле нового моста уже загорелась разбитая снарядами ветхая извозчичья халупа.

У противоположной окраины поселка кое-как они перебрались через старый, прогнивший мостик... Когда они очутились на другом берегу, то мать замолчала, бабка заплакала, Евдокия перекрестилась, а Ефимка сразу же круто свернул в лес.

Дорога попалась узкая и кривая. Близились утро, но в лесу было еще так темно, что только по стуку колес Ефимка угадывал, что вторая подвода идет следом.

Ефим подстегнул коня, и телеги выкатили на просторную светлеющую опушку.

И тут Ефим понял, где они. Кожуховка-то, в которую собирались отряды и беженцы, была где-то далеко, влево за лесами, а впереди совсем близко дымило трубами уже

проснувшееся село Кабакино. Но, угадав, куда они выехали, Ефим вовсе не обрадовался. Он попридержал коня и задумался.

- Кабакино, - тихо сказал он Верке, показывая рукою на окутанное туманами серое и угрюмое село.

- Что ты? - испуганно переспросила Верка.

- Оно самое. Видишь, колокольня с золоченым крестом. Это ихняя, другой нет.

- Куда, господи, занесло! - в страхе сказала мать. - Что же мы теперь делать будем, Ефимка?

- А я почему знаю, - сердито ответил Ефимка, очищая кнутом замазанные дегтем сапоги.

- То ругаться, а теперь - что, что? Подержи-ка вожжи, Верка.

Он спрыгнул и пошел к опушке. У опушки остановился и стал присматриваться: нет ли другой дороги, чтобы миновать стороною это опасное село.

Это было село богатых садоводов, то самое знаменитое Кабакино, в котором полгода тому назад погиб весь первый взвод Тамбовского продотряда и возле которого только две недели тому назад разбили бомбами легковую машину губпродкома. И теперь, когда кругом шныряли прорвавшиеся через фронт казаки, чего хорошего могли ожидать беженцы на этом незнакомом пути?

Но влево никакой дороги не было.

И вдруг Ефимка увидел, как со стороны Кабакина выезжают навстречу три подводы, а сбоку подвод гарцует на конях кучка черных всадников. Тогда, отскочив назад и низко пригибаясь, как будто бы кто-то ударил его палкой по животу, Ефимка помчался к подводам.

Он схватил за узду и круто заворотил телегу.

- Гони, Верка! Да замолчите, чтобы вы сдохли! - крикнул он, услышав, как дружно заорали разбуженные рывками и толчками ребята.

И, подсакивая на выбоинах и ухабах, обе подводы покатили назад. Так катили они долго, Ефимка молча нахлестывал измотавшегося коня и оборачивался по сторонам, отыскивая, куда бы свернуть с дороги.

Наконец он заметил маленькую тропку.

...Задевая за пни и корни, подводы тихо подвигались по узенькой кривой тропинке. Иногда деревья склонялись так низко, что дуги лошадей с шорохом цеплялись за спутанные ветви.

Давно уже и далеко позади простучали и стихли колеса кабакинских подводчиков, но беженцы шаг за шагом всё глубже и глубже забирались в чашу леса.

Наконец ветви раздвинулись. Сверкнуло солнце. И подводы тихо въехали на маленькую круглую поляну.

Здесь тропка оканчивалась. Здесь нужно было остановиться, отдохнуть и подумать, что же делать дальше.

Остановились и стали разбираться

- Доехали, Верка, - невесело сказал Ефим, бросая вожжи и устало подсаживаясь на сухое трухлявое бревно.

Они молча посмотрели друг на друга.

Лицо Ефимки горело и было в красных пятнах, как будто бы он только недавно упал головой в крапиву. Рубаха - в пыли, сапоги - в грязи. И только ободранные ножны штыка у пояса сверкали на солнце, как настоящие серебряные.

В черных косматых волосах Верки запутались сухие травинки и серо-красная голова репейника. От шеи к Плечу тянулась яркая, как после удара хлыстом, полоска. А смятое ситцевое платье было разодрано от бедра до колена.

Верка взяла ведро и пошла за водой. Ходила она долго, но хорошей воды не нашла и принесла из болота. Вода была прозрачная, но теплая и пахла гнилушками.

Пришлось разводить костер и кипятить. Ефим распряг коней и повел поить.

- Где вода? - спросил Ефим у Верки, которая, укрывшись мешком, сидела и гадала, как бы зачинить разлохмаченное платье.

- Пойдем, я сама покажу... Все равно скоро не зачинишь, - сказала она, показывая на схваченные булавками лохмотья. - Посмотри-ка, Ефимка, что это у меня на шее?

- Ссадина, - ответил Ефим. - Здоровенная. Ты крепко зашиблась, Верка?

- Плечо ноет, да колено содрано. А тебе меня жалко, что ли?

- Ладно еще, что вовсе голову не свернуло, - огрызнулся Ефим. - Я ей говорю: "Бежим скорее!" А она: "Погоди... чулок поправлю". Вот тебе и нарвалась на Собакина. Ребята в отряде. Все вместе... кучей. А ты теперь возись, как старая баба, с ребятами.

- Ефимка! - помолчав, сказала Верка. - А ведь белые казаки бьют всех евреев начисто.

- Не всех. Какой-нибудь банкир... Зачем им его бить, когда они сами с ним заодно. Ты бы лучше книжки читала, чем по вечеринкам шататься, а то иду я, сидит она, как принцесса, да семечки пощелкивает. А возле нее Ванька Баландин на балалайке... Трынди-брынди...

- У Самойловых отец не банкир, а кочегар, - покраснела Верка. - У Евдокии Степан в пулеметчиках, взводный, что ли! Да и Вальку с Николашкой тоже было бы жалко. А ты заладил... Собакин... Собакин...

- Почему "тоже бы"? - обозлился догадавшийся Ефим. И, чтобы обидеть ее, он с издевкой напомнил: - Как на собрании, так она дура дурой, а тут: "тоже бы". Ее спрашивают, кто такой Фридрих Энгельс. А она думала, думала, да и лягнула: "Это, говорит, какой-то народный комиссар..."

- Забыла, - незлобиво созналась Верка. - Я его тогда с Луначарским спутала.

- Как же можно с Луначарским? - опешил Ефимка. - То Фридрих Энгельс, а то Луначарский. То в Германии, а то в России. То жив, а то умер.

- Забыла, - упрямо повторила Верка. - Я мало училась. - И, помолчав, она хмуро сказала: - А что нам с тобой ссориться, Ефимка? Ведь ото всех наших мы с тобой только одни остались.

Вскоре запылился костер, зашумел чайник, забурилась картошка, зафыркала каша, и все пошло дружно и споро.

А когда разостлали брезент на траве и, голодные и усталые, сели обедать всем табором, то показалось, что среди этой звонкой лесной тишины забыли всё - и о своей неожиданной беде и о своих тяжелых думах.

Но как ни забывай, а беда висела не пустяковая: куда идти, как выбираться?

И когда после обеда маленькие ребятишки завалились спать, то собрались вокруг Ефимки и ворчливая бабка, и тихая Евдокия, и глубоко оскорбленная Ефимкой мать.

И так прикидывали и так думали... Наконец решили, что пока все останутся на месте, а Ефимка пойдет через лес разведывать дорогу. Идти никуда Ефимке не хотелось, а крепко хотелось ему спать. Но он поднялся и подозвал Николашку, который тихонько подслушивал, о чем говорят старшие.

- Возьми, Николай, - отстегивая штык, сказал Ефимка, - повесь его на пояс. И будешь ты вместо меня комендантом.

- Зачем? - спросила мать. - На что такое баловство? Еще зарежется. Дай, Николашка, я спрячу.

Но, крепко сжав штык, Николашка отлетел чуть ли не на другой конец поляны, и мать только махнула рукой.

- Спрячь, Верка, - позевывая, сказал Ефим, - подавая ей клеенчатый бумажник, из которого высовывался рыжий комсомольский билет.

- Зачем это? - не поняла мать. И вдруг, догадавшись, она нахмурилась и сказала, не глядя Ефимке в глаза: - Ты, Ефимка, того... Поосторожней...

- Как бы ночевать не пришлось, - дотрагиваясь до почерневших жердей, сказал Ефим. - Наруби-ка ты, Верка, с комендантом веток да зачините у шалаша крышу. А то ударит гроза, куда ребятишек денем!

Переобув сапоги, он подошел к телегам, похлопал каурого конька по шее, взял с воза ременный кнут и, посмотрев на солнышко, пошел, не оборачиваясь, в лесную гущу.

- Кабы грозы не было, - сказала Евдокия, поглядывая на небо, - ишь, как тучи воротит.

Верка одернула наспех зашитое платье и, вспомнив Ефимкино приказание, крикнула Николашке, чтобы он бежал к ней со штыком рубить ветки и чинить худой шалаш.

На кусты налетели целой ватагой: Николашка, Абрамка, Степка. Вскоре навалили целую гору. Закидали дыры, натащили внутрь большие охапки пахучей травы, занавесили ход. И, еще не дожидаясь наступления грозы, ребяташки один за другим дружно полезли в шалаш.

Небо почернело. Кони настороженно зашевелили ушами. На притихшую зеленую полянку опускались тревожные сумерки.

Лежа у костра и изредка поправляя горячие картофелины, Верка вдруг подумала: "А что же будет, если казаки ударят так сильно, что не справится с ними и погибнет вся Красная Армия? Какая тогда будет жизнь?"

Костер совсем погас, угли подернулись пеплом, и только одна головешка, черная и корявая, тихонько потрескивая, чадила едким и синеватым дымком.

И тут же, кто его знает почему, Верка вспомнила, как давно однажды пришел ее отец веселый, потому что был праздник, - или родился, или женился какой-то царь. И отец сказал, что на радостях дяде Алексею назначили досиживать в тюрьме не полтора года, как оставалось, а всего только восемь месяцев.

Все обрадовались, а Верка всех больше. Потому что раньше, когда дядя Алексей еще не сидел в тюрьме, он часто приходил в гости и дарил Верке или копейку, или пряник. А однажды на именины он подарил ей голубую блестящую ленту, такую невиданно красивую, что перепуганная от радости Верка, схватив подарок, как кошка умчалась на чердак и не слезала до тех пор, пока мать не прогнала ее оттуда веником.

"Нет, не может быть, чтобы разбили..." - подумала она. И опять вспомнила, как однажды, уже после смерти отца, мать взяла ее с собой в один дом на кухню.

Когда мать стирала белье, дверь тихонько отворилась и, лениво позевывая, на кухню вошла огромная и гордая собака. Она подошла к углу, где стояла широкая тяжелая миска, сняла зубами крышку и достала большой кусок сочного вареного мяса. Широко вылупив глаза и боясь пошевелиться, Верка смотрела на то, как спокойно, почти равнодушно съела собака этот кусок, потом сама накрыла миску крышкой и, не глядя ни на кого, так же лениво и гордо ушла в глубину тяжелых прохладных комнат.

"Нет, не погибнет! - опять успокоила себя Верка. - Разве же можно, чтобы погибла?"

Дым от головешки попал ей в лицо. Верка сощурилась, протирая глаза кулаком, и перед нею всплыло беззлобное лицо тихой побирушки Маремьяны, муж которой, стекловар, умер от ожога на заводе. Эта побирушка ходила под окнами и робко просила милостыню, но когда добиралась она до крыльца Григория Бабыкина, который был хозяином стекольного завода, то, крестясь и страшно ругаясь, грозно стучала палкой в тяжелые ворота.

И тогда Григорий Бабыкин высылал дворника Ермилу. А дворник Ермила, тихонько подталкивая побирушку, бормотал хмуро и виновато: "Уходи, Маремьяна. Мне что... Я человек нанятой. Уходи от греха. Видно, уж бог вас рассудит".

- Разве же можно, чтобы погибла? - убежденно повторила Верка и сердито хлопнула по голому плечу, в которое больно кололи черные невидимые комары.

- Что одна? Посидим вместе, - раздался за ее спиной знакомый голос.

- Ефимка... Дурак! - вскрикнула испуганная Верка.

И, не зная, что сказать от радости, она схватила его за плечи, потом выхватила из-под пепла костра две горячие картофелины и, перекатывая их на ладонях, протянула ему:

- Садись. Ешь. Это я для тебя испекла. Я-то жду, жду, а тебя нет и нет.

- И то дело, - устало опускаясь на траву, согласился Ефимка. - Есть хочу как собака.

Заслышав голоса, вылезла мать, за нею Евдокия, и даже бабка Самойлиха, которая никак не могла уложить Розку, высунула из шалаша седую голову.

Но в том, что рассказал Ефимка, хорошего было мало. От встретившегося старика пастуха он узнал, что - один с утра, другой к полудню - проскакали по дороге два казачьих разезда, что впереди, в Кабакине, бушует белая банда.

Значит, оставалось только одно: бросить телеги, навьючить коней и двигаться к Кожухову через леса, через овраги пешком.

Все замолчали.

- Ефим, - предложила мать, - а что, если попробовать выбраться по-другому?

- Как еще по-другому? - удивился Ефимка.

- А так. У нас на лбу не написано, что мы беженцы. Мало ли кто. Ну, из голодающей губернии... ну, погорельцы. Женщины да ребята. Кто нас тронет?

- Нельзя, - насторожилась Верка. - Самойловы евреи. А белые казаки бьют их начисто.

- Ну, так давайте тогда разделимся, - рассердилась мать, - и пусть каждый идет сам по себе. Если мы целым табором, так нас каждый заметит, а по отдельности куда как легче будет.

- Так нельзя, - опять перебила Верка и с удивлением посмотрела на молчавшего Ефимку.

- Тебя не спрашивают, - оборвала ее мать. - А двадцать верст с ребяташками по оврагам, болотам да лесом - это разве можно? Ты думаешь, мне добра жалко? Мне не жалко, бог с ним. Можно одну телегу Евдокии отдать, другую - Самойлихе. А мы и так потихоньку доберемся. Где я Вальку поднесу, где ты, Ефимка, поможешь.

Ефимка молчал, но он видел, как сбоку все больше и больше высовывается седая трясущаяся голова Самойлихи и как яростно укачивает Самойлиха плачущую Розку, стараясь не пропустить ни слова.

- Дура ты! - вполголоса сказал Ефимка и поднялся от костра.

- Это кто дура? - переспросила притихшая мать.

- Ты дура. Вот кто! - злобно выкрикнул Ефимка и, ударив кулаком любопытного каурого конька, плюнул и пошел к телегам.

- Что ты, Ефимка? - спросила Верка, подходя к нему в то время, когда он стаскивал с телеги брезентовое полотнище.

- Ничего. Спать надо, - коротко ответил Ефимка. - Укрываться чем будем?

Когда Верка притащила широкую жесткую дерюгу, Ефимка, сидя на разостланном брезенте, перематывал портянки.

- Чтоб он пропал, этот Собакин! - опять выругался Ефимка и озабоченно спросил: - Розка-то чего орет? Только еще не хватало, чтоб заболела.

Легли рядом, укрылись дерюгой и замолчали.

Черные тучи, которые так беспросветно обложили вечером горизонт, тяжело и упрямо двигались на запад, обнажая холодное, блистающее звездами небо.

И вдруг среди великого множества Верка узнала одну знакомую звезду. Верка повернулась на спину, чтобы получше рассмотреть, не ошиблась ли. Нет, ошибки не было. Так же, крючком, стояли три звезды справа, четыре слева. Сверху не то змейка, не то блестящий птичий клюв, а посередине сияла спокойная, светлая, голубая - та самая, которую видела однажды Верка из окна, когда лежала она на жесткой койке тифозного барака.

- Ефимка, - с любопытством сказала, повернувшись на бок, Верка, - а какой, по-твоему, будет социализм? Ну вот, например, то так люди жили, а то будут как?

- Еще что! - сонным голосом отозвался Ефимка. - Как будут? Да очень просто.

- Ну, а все-таки. Как просто? То, например, работаешь, работаешь, пришла получка - получил, потом истратил, потом опять работаешь, потом воскресенье. Пошел гулять, или пить, или в гости, потом опять работаешь, потом опять воскресенье. Или, скажем, мужик... Смолотил он пшеницу, свез в город, купил корову, потом корова сдохла. Вот он опять посеял... У одного уродилась, он еще корову купил. А у другого или не уродилась, или градом побило...

- Почему же это сдохла? - удивился и не понял Ефимка. - Ты бы лучше книжки читала. А то: не уродилась... сдохла... Мелешь, а сама что, не знаешь.

- Ну, пускай не сдохла, - упрямо продолжала Верка. - Все равно. Я, Ефимка, книжки читала. И программу коммунистов. Самое-то главное я поняла. А вот как по-настоящему все

будет - этого я еще не поняла. Ну, скажем, один рабочий хорошо работает, другой плохо. Так неужели же им всего будет поровну?

- Спи, Верка, - почти жалобно попросил Ефимка. - Что я тебе, докладчик, что ли? Нам вставить чуть свет. Тут еще казаки... война. А она вон про что.

- Интересно же все-таки, Ефимка, - разочарованно ответила Верка и, дернув за край дерюги, обидчиво спросила: - Что же это ты, Ефимка, на себя всю дерюгу стащил? У тебя ноги в сапогах, а у меня совсем голые.

- Вот еще! Чтоб ты пропала! - заворчал Ефимка. И, сунув ей конец дерюги, он отвернулся и сердито закрыл лицо фуражкой.

Проснулся Ефимка оттого, что кто-то тихонько поправил ему изголовье.

Открыл глаза и узнал мать.

- Ты что? - добродушно спросил он.

- Ничего, - позевывая, ответила мать и села рядом. - Так что-то не спится. Лежу, думаю. И так думаю и этак думаю. А что придумаешь? Тошно мне, Ефимка!

- Хорошего мало! - согласился Ефимка. - Всем плохо. А мне, думаешь, весело?

- Тебе что! - с горечью продолжала мать. - Что ты, что она - ваше дело десятое. Ей пятнадцать, тебе шестнадцать. А мне сорок седьмой пошел. Вот сплю, проснулась - смотрю... что такое? Кругом лес... шалаш. Ни дома, ни Семена. Ребятишки в траве, как кутята, приткнулись. Вышла - гляжу, ты валяешься под дерюгою. Господи, думаю, зачем же это я тридцать лет крутилась, вертелась... Все старалась, чтобы как у людей, как лучше. И вдруг что же... Погас свет. Зажужжало, загрохало. И не успела я опомниться, как на, возьми... шалаш, лес. И как будто бы все эти тридцать лет так разом впустую и ухнули.

Мать замолчала.

- Сапоги-то отцовские утром переодень, - равнодушно предложила она. Сапоги новые, малы ему. Всё на муку променять хотела. Теперь все равно бросать, а тебе как раз впору.

- Это хорошо, что сапоги, - обрадовался Ефимка. - Да ты, мама, не охай. Вот погоди, отгрохает война - и заживем мы тогда по-новому. Тогда такие дома построят огромные... в сорок этажей. Тут тебе и столовая, и прачечная, и магазин, и все, что хочешь, - живи да работай. Почему не веришь? Возьмем да и построим. А над сорок первым этажом поставим каменную башню, красную звезду и большущий прожектор... Пусть светит!

- А куда он светить будет? - с любопытством, высовывая из-под дерюги голову, спросила Верка.

- Ну, куда? - смутился застигнутый врасплох Ефимка. - Ну, никуда. А что ему не светить? Тебе жалко, что ли?

- Не жалко, - созналась Верка. - Я и сама люблю когда светло. Пусть светит!

Верка хотела было уже поподробней выспросить Ефимку, как будет и что, но тут ей показалось, что Ефимкина мать тихонько плачет. Тогда она сунула голову под дерюгу и замолчала.

Догадавшись, о чем мать собирается говорить, притворился сонным, замолчал и Ефимка.

Мать посидела, вздохнула, встала и ушла в палатку.

- Это она на меня за Самойлиху обиделась, - вполголоса объяснил Ефим и, закрывая голову, угрожающе предупредил: - А если ты, Верка, опять со мной начнешь разговаривать, то я спихну тебя с брезента и спи тогда, где хочешь.

Утром, разбирая и скидывая ненужный скарб, старуха Самойлиха нашла в телеге под соломой ободранную трехлинейную винтовку.

Как она сюда попала, этого никто не знал.

И обрадованный Ефим решил, что винтовку забыл потерявшийся подводчик.

Все домашнее барахло - мешки, узлы, зимнюю одежду - стащили в гущу орешника, закрыли брезентом, закидали хворостом на тот случай, если приведет судьба вернуться.

На каурого конька сложили одеяла, сумки с остатками провизии, котелок, ведро и чайник. А сбоку тощей коняки ухитрились приспособить старенькую плетеную корзину.

Сунули в нее подушку и посадили двоих несмышленных малышей.

- Сейчас трогаем, - сказал Ефим, закидывая винтовку за плечо. - А где Верка?

- Здесь, здесь! Никуда не делась, - откликнулась Верка, выбегая из-за куста.

Взамен вчерашнего рваного платья на ней была короткая юбка клешем и синяя блузка-матроска.

- Ишь ты, как вырядилась. Откуда это? - удивился Ефим.

- Бабка в узелок сунула. Выбрасывать, что ли? - задорно ответила Верка, на ходу пристегивая подвязки к новым чулкам.

И тут Ефимка увидел, что не только одна Верка, но и его мать и тихая Евдокия тоже были наряжены в новые башмаки и платья.

- Как к празднику, - усмехнулся Ефим и, хлопнув кнутовищем по высоким голенищам новеньких отцовских сапог, обернулся к ребятишкам и скомандовал: А ну, кавалерия... Давай вперед!

Сначала было неплохо. Мальчишки шныряли по кустам, подбирая грибы, выламывая хлыстики и обципывая грозди ярко-красных волчьих ягод.

Но вскоре дорога ухудшилась. Попадались болотца, потом овраги, не крутые, но частые, после которых приходилось останавливаться на роздых и перевязывать кое-как притороченные вьюки.

Уже спускались сумерки, когда усталые, измотанные беженцы очутились опять без дороги в таком густом лесу, что ни клочка неба, ни единой звездочки нельзя было разглядеть сквозь шатер шумливой листвы.

Наспех выбрали бугорок посуше. Кое-как раскидали оставшееся барахло, вздули костер, и весь табор сразу же завалился спать.

Первой проснулась Верка. Вздрагивая от холода, она пробралась к костру. Несколько крупных капель упали на ее плечи. Рванул ветер. И с тяжелыми перегидами и перекатами загремели невиданные тучи.

Сгрудили ребятишек кучею. Накрыли их брезентовым полотнищем и, укрывшись кто чем попало, спрятались под дерево сами.

Гроза стихла только к рассвету. Все перемокли, продрогли, но вокруг не оставалось ни клочка сухой травы. Чтобы хоть немного согреться на ходу, решили сейчас же двигаться дальше. Но тут явилась новая беда. Испуганная ночью грозой, сорвалась с привязи и пропала куда-то их старая кляча. Мокрый каурый конек ходил рядом, а клячи не было.

Долго рыскал Ефимка по лесу. Кидался то в одну, то в другую сторону. Свистел, покрикивая, прислушивался - и все без толку.

Спускаясь по глинистому скату, он поскользнулся и шлепнулся в холодную липкую грязь. Молча выбрался, сел на пенек и опустил голову.

- Что, брат, попался! - тихо пробормотал Ефимка, зажмуривая красные, опухшие глаза.

- Ефимка, - сказала Верка, выбегая ему навстречу, - а тут совсем рядом дорога.

- Какая дорога, откуда?

- Не знаю. Я тоже бегала искать коня. Вдруг гляжу - дорога. На дороге чья-то убитая лошадь. В кустах телега. А под телегой двое - старик и мальчишка.

- Подожди здесь, Верка, - сказал Ефимка, когда выбрались они к дороге.

Он выглянул. Свесив морду в придорожную канаву, валялась мокрая серая лошаденка. Тут же рядом, у телеги, на соломе сидели старик и небольшой парнишка. Заметив человека с винтовкой, парнишка забеспокоился. Но старик, повернув голову, продолжал сидеть не двигаясь.

- Здравствуй, дедушка, - сказал Ефим, оглядываясь по сторонам и пытаясь угадать, что же это тут произошло.

- Здравствуй, коли здороваешься, - хриплым басом ответил старик. Откуда в такую рань бог несет?

- Не здешний, - ответил Ефимка. - Ты скажи, куда эта дорога идет?

- Разно куда идет. Один конец в одну сторону, другой - в другую. Тебе куда надо?

- Мне? - И Ефим запнулся. - Мне никуда не надо. Я так спрашиваю.

- Ну, а никуда, так и гуляй по лесу. На что тебе дорога? - грубо ответил старик и, нахмутив косматые брови, прямо и безбоязненно спросил: Это из вашей, что ли, банды мне коня ночью угробили? Я с парнишкой еду, вдруг: "Стой! Кто едет?" Потом бах, бах... Погодите, разбойники, добабахаетесь.

Старик тяжело повернулся и продолжал:

- Банда-то ваша откуда, кабакинские? Кто у вас там верховодит, Гришка Кумаков, что ли? Так и скажи ты этому Гришке, что повесить его, подлеца, мало. Что же ты молчишь? Рот раззявил? Или ты думаешь, я винтовки твоей испугался?

- Мне Гришка Кумаков не нужен, - ответил Ефимка, с уважением разглядывая этого крепкого старика. - Ты скажи лучше, как бы это мне поскорее да похитрее на Кожуховку выбраться.

- Так бы и говорил, что на Кожуховку, - помолчав, ответил старик и охотно рассказал Ефимке, куда ему надо держать путь.

Вернулся тогда Ефимка в табор, напоил каурого коня, из подушки и веревки смастерил плохонькое седлышко, приладил за плечи винтовку и сунул в карман кусок хлеба.

Молча обступили его всем табором. Теперь оставалась только одна надежда, что сумеет Ефимка пробраться в лес, переплыть через реку и доберется до Кожуховки с просьбой о подмоге.

Провожала его Верка до самой дороги. Здесь они остановились.

- Ступай, - сказал Ефимка. - Коли не вернусь к ночи, то попробуй пробраться сама. Ну, иди... Чего же ты стала, как столб!

- Ефимка, - дотрагиваясь рукою до веревочного стремени, тихо сказала Верка, - ты смотри. Если с тобою что-нибудь случится, то и мне и всем нам будет тебя очень-очень жалко.

- А мне вас, дура, разве не жалко! - сердитым и дрогнувшим голосом выкрикнул Ефимка и ударил по коню каблуками.

Высунувшись из-за кустов, Верка видела, как быстро помчался он по сырой дороге. Остановился у ветхого мостика через ручей, оглянулся назад и, махнув ей рукой, круто свернул в лес.

Стало теперь как-то пусто, тихо и уныло в таборе. Никто уже не покрикивал, не поругивался, не распоряжался. Пригреваемые солнышком, уснули, продрогнув за ночь, ребятишки. Еле-еле разгорался сырой костер.

К вечеру опять где-то загремело, загрохотало. Потом по дороге с шумом и звоном промчалось несколько всадников.

Тогда потушили костер и собрались все в кучу.

Ждали, очень крепко ждали и надеялись они на своего хорошего и смелого парня - на Ефимку.

...Свернув с дороги в лес, Ефимка вскоре очутился на той тропке, о которой рассказал ему старик. Здесь было тихо и пусто. Бойко и задорно поддавал ходу каурый конек.

Рысью промчались они мимо густых зарослей осинника. Разбрызгивая грязь, пролетели они хлюпкое болотце. Потом на горку - по сухому песку. Потом поворот... Еще поворот. Мимо ушей посвистывал теплый влажный ветер. Ефимка крепче надвинул фуражку, поправил на скаку винтовку и улыбнулся, радуясь тому, как быстро и просто остаются позади версты.

Опять поворот, еще поворот. Вдруг что-то грохнуло, и, едва не перелетев через голову коня, Ефимка остановился.

Не дальше как в сотне шагов от него, там, где тропка перекрещивалась с дорогой, стояли три всадника. И двое из них старательно целились вверх, сбивая выстрелами изоляционные чашечки телеграфных проводов.

И не успел Ефимка опомниться, как одна пуля с визгом пронеслась мимо его головы, а другая чуть не вышибла его из седла, крепко рванув приклад перекинутой за плечи винтовки.

Тогда Ефимка пригнулся так, что едва не обхватил руками шею каурого, и опомнился только после того, как почувствовал, что каурый тихо шагает среди низкорослого болотистого леса.

Ефимка остановился. Шапки на нем не было. Кусок приклада был вырван пулей. Потрогал мокрый лоб - пальцы покраснели. Вероятно, на скаку содрал он кожу о сухую ветку. Посмотрел на солнце. Солнце висело теперь уже не слева от него, а впереди и чуть справа.

"Как же выбираться? Плутать буду", - с тревогой подумал Ефимка.

В сырой прохладе однотонно, как нечаянно тронутая струна, звенела болотная мошкара. Далеко и грустно куковала кукушка.

...Что же ты вам клялся до зари,

Что ж ты обещался, говорил...

опять вспомнил Ефимка ту самую немудреную песенку, которую еще так недавно пели заводские девчата, возвращаясь с комсомольской вечерки.

А теперь, поникнув бледной головой,

Ты стоишь, проклятый, сам не свой

Все тогда пели, и Верка пела, и он подпевал тоже.

И тут Ефимка почувствовал, как крепче и крепче колотится его сердце, как горячей, ярче краснеет его лицо и как тяжелая и гордая злоба начинает давить ему пересохшее горло. Был завод, школа, дом, комсомол, песня. А теперь ничего, кроме этих усталых женщин да побледневших, измученных ребятшек, которые его ждут, на него надеются, в то время как он тут без толку месит грязь в болоте.

- Ах, собаки!.. Ах, императоры!.. - незаметно для себя так же протяжно и с той же злобою повторил он, как и тот избитый бандитами мужик, который встретился недавно в лесу.

Ефим спрыгнул с коня. Плеснул болотной водою на окровавленный лоб. Подтянул седло и поправил винтовку.

Солнце опять стало слева. Славный каурый двинул рысью. И слегка сгорбившемуся Ефимке вдруг показалось, что теперь уже никто и ничто не сможет помешать ему пронестись, пробиться, прорваться к своим - в Кожуховку.

Конь вынес его на ту же тропку. Вскоре засверкало широкое поле. Вправо на бугорке виднелся хутор. Кто-то махал Ефиму шапкой и кричал, по-видимому приказывая остановиться. Вскоре трое верховых, отделившись от ограды, кинулись за ним вдогонку. Первая пуля слабо взвизгнула где-то высоко и в стороне. Потом вторая.

"Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь!" - злорадно подумал Ефимка, заскакивая на опушку негустой рощицы. И вдруг он увидел, что рощица быстро расступается. Внизу под горкой голубеет спокойная широкая река, а за рекой, за просторными лугами раскинулось на горе село Кожухово.

Вот они - мельница, колокольня, старый барский дом над обрывом, а на высоком шпиле дома бодро колышется еле-еле заметный отсюда красный флаг.

Ти-у! - опять взвизгнула пуля, но теперь уже неподалеку.

- Врешь, не попадешь, а догнать не догонишь, - гордо повторил Ефимка и вместе с конем бултыхнулся в воду.

Холодная вода залила сапоги. Еще несколько шагов, и вода подошла к седлу. Слева и справа от коня полетели брызги. Тогда, не раздумывая, Ефимка свалился в воду, ухватился за гриву, и облегченный каурый, высоко подняв морду, рванулся вплавь.

Только что успели они выскочить к кустам на берег, как вдруг каурый вздрогнул, поднялся на дыбы, упал на колени. Он попробовал встать, но не встал, а грузно повалился на бок, задергал ногами и захрипел. И тотчас же Ефимка услышал плеск воды.

- Ах, вот как! - стиснув зубы, гневно пробормотал Ефимка. И, низко пригибаясь, он пополз обратно к берегу.

Отсюда, из-за куста, ему было видно, как три всадника один за другим уверенно

спускались в воду.

Тогда, сдерживая дыхание, Ефимка медленно оттянул предохранитель и нацелился в грудь первого. Но рука дрожала и не слушалась. Он положил качающееся дуло на сук, нацелился с упора и, невольно зажмурившись, выстрелил.

Когда он открыл глаза, то увидел, что двое поспешно поворачивают назад, а одинокий конь, фырча и отряхиваясь, уже выбирается на этот берег.

Конь был буланый, белогривый, седло добротное, казачье, и Ефимка крепко вцепился в мокрый ременный повод.

Солнце светило ему прямо в лицо, и, сощурившись, никого не видя, Ефимка домчался до кладбищенской ограды, где его сразу же окликнули и остановили.

Он не знал пароля и от волнения ничего не мог объяснить. Тогда его спешили, отобрали винтовку и вместе с винтовкой и конем повели в штаб.

Но шаг за шагом он начал приходить в себя. Телеги, подводы, походная кухня, распахнутые ворота, оседланные кони, пулеметные двуколки, и вдруг откуда-то шарахнула песня - знакомая, такая близкая и родная.

Ефимка поднял глаза на своего конвоира и улыбнулся.

- Чего смеешься? - удивился долговязый головастый парень и настороженно приподнял винтовку.

- Хорошо! - сказал Ефимка и больше ничего не сказал.

- Это правда, - снисходительно согласился парень. - Казаков-то из-под Козлова вчера ох как шарахнули!

Вдруг парень отпрянул и вскинул винтовку, потому что Ефимка вскинулся и круто свернул вправо, где стояла кучка командиров.

- Собакин! Чтоб ты пропал! - громко и радостно выругался Ефимка.

- Ты! Отку-у-уда? - развел руками Собакин.

- Отгу-уда! - передразнил его Ефимка. - Наши здесь? Отец здесь? Самойлов здесь?

- Здесь... Все здесь... - ответил Собакин и, обернувшись к долговязому конвоиру, он насмешливо крикнул: - Да ты что, ворона, винтовку на нас наставил? Смотри, убьешь, кто хоронить будет?

Уже совсем ночью сорок всадников тихо подвигались по дороге, сопровождая телеги с разысканными беженцами.

Несмотря на то что он встал с рассветом и с тех пор почти не сходил с коня, спать Ефимке не хотелось.

Где-то за черными полями разгоралось зарево, и оттуда доносились отголоски орудийных взрывов.

- В Кабакине, - негромко сказал начальник отряда. - Это четвертый Донецкий полк дерется.

- Так я останусь? - уже во второй раз спросил у начальника Ефимка.

- Где останешься?

- У вас в отряде, вот где. Конь у меня есть, седло есть, винтовка есть. Отчего мне не остаться!

- Эх, как бабахает! - приподнимаясь на стременах и прислушиваясь к канонаде, сказал начальник. - Видно, там крепкое у них затевается дело... Оставайся, - обернулся он к Ефимке и тотчас же приказал: - Давай-ка скажи, чтобы задние подводы не тарахтели, что у них там, ведра, что ли?

Возвращаясь, Ефимка задержался возле первой телеги:

- Ты не спишь, Верка?

- Нет, не сплю, Ефимка.

- Я остаюсь! Завтра прощай, Верка.

Оба замолчали.

- Ты будешь помнить? - задумчиво спросила Верка.

- Что помнить?

- Все. И как мы лесом, и тропками с ребятами, и как тогда ночью разговаривали. Я так до самой смерти не позабуду.

- Разве позабудешь!

Ефимка сунул руку в карман и вытащил яблоко.

- Возьми, съешь, Верка, это сладкое. Слышишь, как грохают. И это везде, повсюду и грохает и горит.

- И грохает и горит, - повторила Верка.

Выбравшись на бугорок, Ефимка остановился и посмотрел в ту сторону, где полыхало разбитое снарядами Кабакино.

Огромное зарево расстилалось все шире и шире. Оно освещало вершины соседнего леса и тревожно отсвечивало в черной воде спокойной реки.

- Пусть светит! - вспомнив ночной разговор, задорно сказал Ефимка, показывая рукою на багровый горизонт.

- Пусть! - горячо согласилась Верка. И, помолчав, она попросила: - Ты, смотри, не уезжай, не попрощавшись. Может, больше и не встретимся.

- Нет, не уеду, - махнул ей рукой Ефимка.

Он дернул повод и мимо телег, мимо молчаливых всадников быстрою рысью помчался доложить начальнику, что его приказание исполнено.

Аркадий Гайдар

Дым в лесу

Аркадий Гайдар

Дым в лесу

Моя мать училась и работала на большом новом заводе, вокруг которого раскинулись дремучие леса.

На нашем дворе, в шестнадцатой квартире, жила девочка, звали ее Феня.

Раньше ее отец был кочегаром, но потом тут же на курсах при заводе он выучился и стал летчиком.

Однажды, когда Феня стояла во дворе и, задрав голову, смотрела в небо, на нее напал незнакомый вор-мальчишка и вырвал из ее рук конфету.

Я в это время сидел на крыше дровяного сарая и смотрел на запад, где за рекой Кальвой, как говорят, на сухих торфяных болотах, горел вспыхнувший позавчера лес.

То ли солнечный свет был слишком ярок, то ли пожар уже стих, но огня я не увидел, а разглядел только слабое облачко белесоватого дыма, едкий запах которого доносился к нам в поселок и мешал сегодня ночью людям спать.

Услыхав жалобный Фенин крик, я, как ворон, слетел с крыши и вцепился сзади в спину мальчишки.

Он взвыл от страха. Выплюнул уже засунутую в рот конфету и, ударив меня в грудь локтем, умчался прочь.

Я сказал Фене, чтобы она не орала, и строго-настрого запретил ей поднимать с земли конфету. Потому что если все люди будут подъедать уже обсосанные кем-то конфеты, то толку из этого получится мало.

Но чтобы даром добро не пропадало, мы подманили серого кутенка Брутика и запихали ему конфету в пасть. Он сначала пищал и вырывался: должно быть, думал, что суют чурку или камень. Но когда раскусил, то весь затрясся, задергался и стал нас хватать за ноги, чтобы дали ему еще.

- Я бы попросила у мамы другую, - задумчиво сказала Феня, - только мама сегодня сердитая, и она, пожалуй, не даст.

- Должна дать, - решил я. - Пойдем к ней вместе. Я расскажу, как было дело, и она над тобой, наверное, сжалится.

Тут мы взялись за руки и пошли к тому корпусу, где была шестнадцатая квартира. А когда мы переходили по доске канаву, ту, что разрыли водопроводчики, то я крепко держал Феню за воротник, потому что было ей тогда года четыре, ну может быть, пять, а мне уже давно пошел двенадцатый.

Мы поднялись на самый верх и тут увидели, что следом за нами по лестнице пыхтит и карабкается хитрый Брутик.

* * *

Дверь в квартиру была не заперта, и едва мы вошли, как Фенина мать бросилась к дочке навстречу. Лицо ее было заплакано. В руке она держала голубой шарф и кожаную сумочку.

- Горе ты мое горькое! - воскликнула она, подхватывая Феню на руки. - И где ты так измызгалась, изваздалась? Да сиди же ты и не вертись, несчастливое создание! Ой, у меня и

без тебя беды немало!

Все это она говорила быстро-быстро. А сама то хватала конец мокрого полотенца, то расстегивала грязный Фенин фартук, тут же смахивала со своих щек слезы. И видать, что куда-то очень торопилась.

- Мальчик, - попросила она, - ты человек хороший. Ты мою дочку любишь. Я через окно все видела. Останься с Феней на час в квартире. Мне очень некогда. А я тебе тоже когда-нибудь добро сделаю.

Она положила мне руку на плечо, но ее заплаканные глаза глядели на меня холодно и настойчиво.

Я был занят, мне пора было идти к сапожнику за мамиными ботинками, но я не смог отказаться и согласился, потому что, когда о таком пустяке человек просит такими настойчивыми тревожными словами, то, значит, пустяк этот совсем не пустяк. И, значит, беда ходит где-то совсем рядом.

- Хорошо, мама! - вытирая мокрое лицо ладонью, обиженным голосом сказала Феня. - Но ты дай нам за это что-нибудь вкусное, а то нам будет скучно.

- Возьмите сами, - ответила мать, бросила на стол связку ключей, торопливо обняла Феню и вышла.

- Ой, да она от комода все ключи оставила. Вот чудо! - подтаскивая со стола связку, воскликнула Феня.

- Что же тут чудесного? - удивился я. - Мы ведь свои люди, а не воры и не разбойники.

- Мы не разбойники, - согласилась Феня. - Но когда я в тот комод лазаю, то всегда что-нибудь нечаянно разбиваю. Или вот, например, недавно разлилось варенье и потекло на пол.

Мы достали по конфете да по прянику. А кутенку Брутику кинули Сухую баранку и намазали нос медом.

* * *

Мы подошли к распахнутому окошку.

Гей! Не дом, а гора. Как с крутого утеса, отсюда видны были и зеленые поляны, и длинный пруд, и кривой овраг, за которым один рабочий убил зимой волка. А кругом - леса, леса.

- Стой, не лезь вперед, Фенька! - вскрикнул я, стаскивая ее с подоконника. И, закрывшись ладонью от солнца, я глянул в окно.

Что такое? Это окно выходило совсем не туда, где речка Кальва и далекие в дыму торфяные болота. Однако не больше как в трех километрах из чащи поднималась густая туча крутого темно-серого дыма.

Как и когда успел туда пожар перекинуться, это было мне совсем не понятно.

Я обернулся. Лежа на полу, Брутик жадно грыз брошенный Феней пряник. А сама Феня стояла в углу и смотрела на меня злыми глазами.

- Ты дурак, - сказала она. - Тебя мама оставила со мной играть, а ты зовешь меня Фенькой и от окна толкаешься. Возьми тогда и уходи совсем из нашего дома.

- Фенечка, - позвал я, - беги сюда, смотри, что внизу делается.

* * *

Внизу же делалось вот что.

Промчались галопом по улице два всадника.

С лопатами за плечами мимо памятника Кирову, по круглой Первомайской площади, торопливо прошагал отряд человек в сорок.

Распахнулись главные ворота завода, и оттуда выкатились пять грузовиков, набитых людьми до отказа, и, с воем обгоняя пеший отряд, грузовики исчезли за поворотом у школы.

Внизу, по улицам, стайками шныряли мальчишки. Они, конечно, все уже разнюхали, разузнали. Я же должен был сидеть и караулить девчонку. Обидно!

Но когда, наконец, завывла пожарная сирена, я не вытерпел.

- Фенечка, - попросил я, - ты посиди здесь одна, а я ненадолго во двор сбегаю.

- Нет, - отказалась Феня, - теперь я боюсь. Ты слышишь, как оно воет?

- Экое дело, воет! Так ведь это труба, а не волк воет! Съест она тебя, что ли? Ну, хорошо, ты не хнычь. Давай с тобой вместе во двор спустимся. Мы там постоим минутку и назад.

- А дверь? - хитро спросила Феня. - Мама от двери ключа не оставила. Мы хлопнем, замок захлопнется, и тогда как? Нет, Володька, ты уж лучше сядь тут и сиди.

Но мне не сиделось. Поминутно бросался я к окну и громко досадовал на Феню.

- Ну, почему я должен тебя караулить? Что ты, корова или лошадь? Или ты не можешь маму одна дожидаться? Вон другие девчонки всегда сидят и дожидаются. Возьмут какую-нибудь тряпку, лоскутик... куклу сделают: "Ай, ай! Бай, бай!" Ну, не хочешь тряпку, - сидела бы слона рисовала, с хвостом, с рогами.

- Не могу, - упрямо ответила Феня. - Если я одна останусь, то могу открыть кран, а закрыть позабуду. Или могу разлить на стол всю чернильницу. Вот один раз упала с плиты кастрюля. А другой раз застрял в замке гвоздик. Мама пришла, ключ толкала, толкала, а дверь не отпирается. Потом позвали дядьку, и он замок выломал. Нет, - вздохнула Феня, - одной оставаться очень трудно.

- Несчастная! - завопил я. - Но кто же это тебя заставляет открывать кран, опрокидывать чернила, спихивать кастрюли и заталкивать в замок гвозди? Я бы на месте твоей мамы взял веревку да вздул тебя хорошенько.

- Дуть нельзя! - убежденно ответила Феня и с веселым криком бросилась в переднюю, потому что вошла ее мать.

* * *

Быстро и внимательно посмотрела она на свою дочку. Оглядела кухню, комнату и, усталая, опустилась на диван.

- Пойди вымой лицо и руки, - приказала она Фене. - Сейчас за нами придет машина, и мы поедem на аэродром к папе.

Феня взвизгнула. Наступила на лапу Брутику, сдернула с крючка полотенце и, волоча его по полу, убежала на кухню.

Меня бросило в жар. Я еще ни разу не был на аэродроме, который находился километрах в пятнадцати от нашего завода.

Даже в День авиации, когда всех школьников повезли туда на грузовиках, я не поехал, потому что перед этим я выпил четыре кружки холодного квасу, простудился, чуть не оглох и, обложенный грелками, целых три дня лежал в постели.

Я проглотил слюну и осторожно спросил у Фениной матери:

- И долго вы там с Феней на аэродроме будете?

- Нет! Мы только туда и сейчас же обратно.

Пот выступил на моем лбу и, вспомнив обещание сделать для меня добро, набравшись смелости, я попросил!

- Знаете что! Возьмите и меня с собой.

Фенина мама ничего не ответила, и казалось, что вопроса моего не слышала. Она подвинула к себе зеркальце, провела напудренной ватой по своему бледному лицу, что-то прошептала, потом поглядела на меня.

Должно быть, вид мой был очень смешон и печален, потому что, слабо улыбнувшись, она одернула съехавший мне на живот пояс и сказала:

- Хорошо. Я знаю, что ты любишь мою дочку. И если тебя дома отпустят, то тогда поезжай.

- Он меня вовсе не любит, - вытирая лицо, сурово ответила из-под полотенца Феня. - Он обозвал меня коровой и сказал, чтобы меня дули.

- Но ты же меня, Фенечка, первая обругала, - испугался я. - И потом это я просто пошутил. Я же за тебя всегда заступаюсь.

- Это верно, - с азартом растирая полотенцем щеки, подтвердила Феня. Он за меня всегда заступается. А Витька Крюков только один раз. А есть такие, сами хулиганы, что ни

одного раза.

* * *

Я помчался домой, но во дворе наткнулся на Витьку Крюкова. И тот, не переводя духа, выпалил мне разом, что через границу к нам пробрались три белогвардейца. И это они подожгли лес, чтобы сгорел наш большой завод.

Тревога! Я ворвался в квартиру, но тут было все тихо и спокойно.

За столом, склонившись над листом бумаги, сидела моя мама и маленьким кронциркулем наносила на чертеж какие-то кружки.

- Мама! - взволнованно окликнул я. - Ты дома?

- Осторожней, - ответила мать, - не тряси стол.

- Мама, что же ты сидишь? Ты уже про белогвардейцев слышала?

Мать взяла линейку и провела по бумаге длинную тонкую черточку.

- Мне, Володька, некогда. Их и без меня поймают. Ты бы сходил к сапожнику за моими ботинками.

- Мама, - взмолился я, - до того ли теперь дело? Можно, я поеду с Феней и ее матерью на аэродром? Мы только туда и сейчас же обратно.

- Нет, - ответила мать. - Это ни к чему.

- Мама, - настойчиво продолжал я, - помнишь, как вы с папой хотели взять меня на машине в Иркутск? Я уже собрался, но пришел еще какой-то ваш товарищ. Места не хватило, и ты тихонько попросила (тут мать оторвалась от чертежа и на меня посмотрела), ты меня попросила, чтобы я не сердился и остался. И я тогда не сердился, замолчал и остался. Ты это помнишь?

- Да, теперь помню.

- Можно, я с Феней поеду на машине?

- Можно, - ответила мать и огорченно добавила: - Варвар ты, а не человек, Володька! У меня и так времени в обрез до зачета, а теперь я сама должна идти за ботинками.

- Мама, - счастливо бормотал я. - А ты не жалеешь... Ты надень свои новые туфли и красное платье. погоди, я вырасту - подарю тебе шелковую шаль, и совсем ты у нас будешь как грузинка.

- Ладно, ладно, проваливай, - улыбнулась мать. - Заверни себе на кухне две котлеты и булку. Ключ захвати, а то вернешься - меня дома не будет.

Быстро собрался я. В левый карман затолкал сверток, а в правый сунул оловянный, не похожий на настоящий, браунинг и выскочил во двор, куда как раз уже въезжала легковая машина.

Скоро прибежала Феня, а за ней Брутик.

Мы важно сидели на мягких кожаных подушках, а маленькие ребятки толпились вокруг машины и нам завидовали.

- Знаешь что, - покосившись на шофера, прошептала Феня, - давай возьмем с собой Брутика. Посмотри, как он прыгает и вихляется.

- А твоя мама?

- Ничего. Она сначала не заметит, а потом мы скажем, что сами не заметили. Иди сюда, Брутик. Да иди ты, дурачок лохматый!

Схватив кутенка за шиворот, она втащила его в кабину, затолкала в угол, закрыла платком. И такая хитрющая девчонка: заметив подходившую мать, стала пристально разглядывать электрический фонарик на потолке кабинки.

Машина выкатилась за ворота, повернула и помчалась по шумной и встревоженной улице. Дул сильный ветер, и запах дыма уже заметно щипал ноздри.

На ухабистой дороге машину подбрасывало. Кутенок Брутик, высунув голову из-под платка, недоуменно прислушивался к тархтению мотора.

По небу метались встревоженные галки. Пастухи громким щелканьем бичей сердито сгоняли обеспокоенное и мычащее стадо.

Возле одной сосны стояла лошадь со спутанными ногами и, насторожив уши, нюхала

воздух.

Промчался мимо нас мотоциклист. И так быстро летела его машина, что только успели мы обернуться к заднему окошечку, как он уже показался нам маленьким-маленьким, как шмель или даже как простая муха.

Мы подъехали к опушке высокого леса, и тут красноармеец с винтовкой загородил нам дорогу.

- Дальше нельзя, - предупредил он, - поворачивайте обратно.

- Можно, - ответил шофер, - это жена летчика Федосеева.

- Хорошо! - сказал тогда красноармеец. - Вы подождите.

Он вынул свисток и, вызывая начальника, дважды свистнул.

Пока мы ожидали, к красноармейцу подошли еще двое.

Они держали на привязи огромных собак.

Это были ищейки из отряда охраны - овчарки Ветер и Лютта.

Я поднял Брутика и сунул его в окошко. Увидав таких страшил, он робко вильнул хвостиком. Но Ветер и Лютта не обратили на него никакого внимания. Подошел человек без винтовки, с наганом. Узнав, что это едет жена летчика Федосеева, он приложил руку к козырьку и, пропуская нас, махнул рукой часовому.

- Мама, - спросила Феня, - отчего если едешь просто, то тогда нельзя. А если скажешь: жена летчика Федосеева, то тогда можно? Хорошо быть женой Федосеева, правда?

- Молчи, глупая, - ответила мать. - Что ты городишь, и сама не знаешь.

* * *

Запахло сыростью.

Через просвет деревьев мелькнула вода. А вот оно раскинулось справа длинное и широкое озеро Куйчук.

И странная картина открылась перед нашими глазами: дул ветер, белыми барашками пенились волны дикого озера, а на далеком противоположном берегу ярким пламенем горел лес.

Даже сюда, за километр, через озеро, вместе с горячим воздухом доносился гул и треск.

Охватывая хвою смолистых сосен, пламя мгновенно взвивалось к небу и тотчас же падало к земле. Оно крутилось волчком понизу и длинными жаркими языками лизало воду озера. Иногда валилось дерево, и тогда от его удара поднимался столб черного дыма, на который налетал ветер и рвал в клочья.

- Там подожгли ночью, - хмуро объявил шофер. - Их бы давно изловили собаками, но огонь замел следы, и Лютте работать трудно.

- Кто зажег? - шепотом спросила Феня. - Разве это зажгли нарочно?

- Злые люди, - тихо ответил я. - Они хотели бы сжечь всю землю.

- И они сожгут?

- Еще что! А ты видела наших с винтовками? Наши их переловят быстро.

- Их переловят, - поддакнула Феня. - Только скорей бы. А то жить страшно. Правда, Володя?

- Это тебе страшно, а мне нисколько. У меня папа на войне был и то не боялся.

- Так ведь то - папа... И у меня тоже папа...

Машина вырвалась из лесу, и мы очутились на большой поляне, где раскинулся аэродром.

Фенина мать приказала нам вылезать и не отходить далеко, а сама пошла к дверям бревенчатого здания.

И когда она проходила, то все летчики, механики и все люди, что стояли у крыльца, разом притихли и молча с ней поздоровались.

Пока Феня бегала с Брутиком вокруг машины, я притерся к кучке людей и из их разговора понял вот что. Фенин отец, летчик Федосеев, на легкой машине вылетел вчера вечером обследовать район лесного пожара. Но вот прошли уже почти сутки, а он еще не возвращался.

Значит, с машиной случилась авария или у нее была вынужденная посадка. Но где? И счастье, если не в том краю, где горел лес, потому что за сутки огонь разметало почти на двадцать квадратных километров.

Тревога! Нашу границу перешли три вооруженных бандита! Их видел конюх совхоза "Искра". Но выстрелами вдогонку они убили его лошадь, ранили самого в ногу, и поэтому конюх добрался до окраины нашего поселка так поздно.

Разгневанный и взволнованный, размахивая своим оловянным браунингом, я шагал по полю и вдруг стукнулся лбом об орден на груди высокого человека, который шел к машине вместе с Фениной матерью.

Сильной рукой человек этот остановил меня. Посмотрел на меня пристально и вынул из моей руки оловянный браунинг.

Я смутился и покраснел.

Но человек не сказал ни одного насмешливого слова. Он взвесил на своей ладони мое оружие. Вытер его о рукав кожаного пальто и вежливо протянул мне обратно.

Позже я узнал, что это был комиссар эскадрильи. Он проводил нас до машины и еще раз повторил, что летчика Федосеева беспрестанно ищут с земли и с воздуха.

* * *

Мы покатали домой.

Уже вечерело. Почувяв, что дело неладно, опечаленная Феня тихонько сидела в уголке, с Брутиком больше не играла. И наконец, уткнувшись к матери в колени, она нечаянно задремала.

Теперь все чаще и чаще нам приходилось замедлять ход и пропускать встречных. Проносились грузовики, военные повозки. Прошла саперная рота. Промчался легковой красный автомобиль. Не наш, а чей-то чужой, должно быть, какого-нибудь приезжего начальника.

И только что дорога стала посвободней, только что наш шофер дал ходу, как вдруг что-то хлопнуло и машина остановилась.

Шофер слез, обошел машину, выругался, поднял с земли оброненный кем-то железный зуб от граблей и, вздохнув, заявил, что лопнула камера и ему придется менять колесо.

Чтобы шоферу легче было поднимать машину домкратом, Фенина мать, я, а за мной и Брутик вышли.

Пока шофер готовился к починке и доставал из-под сиденья разные инструменты, Фенина мать ходила по опушке, а мы с Брутиком забежали в лес и здесь, в чаще, стали бегать и прятаться. Причем, когда он меня долго не находил, то от страха начинал выть ужасно.

Мы заигрались. Я запыхался, сел на пенек и забылся, как вдруг услышал далекий гудок. Я подскочил и, кликнув Брутика, помчался.

Однако через две-три минуты я остановился, сообразив, что это гудела никак не наша машина. У нашей звук был многоголосый, певучий, а эта рывкала грубо, как грузовик.

Тогда я повернул вправо и, как мне показалось, направился прямо к дороге. Издалека донесся сигнал. Это теперь гудела наша машина. Но откуда, я не понял.

Круто повернув еще правей, я побежал изо всех сил.

Путаясь в траве, маленький Брутик скакал за мной.

Если бы я не растерялся, я должен был бы стоять на месте или продвигаться потихоньку, выжидая новых и новых сигналов. Но меня охватил страх. С разбегу я врезался в болотце, кое-как выбрался на сухое место. Чу! Опять сигнал! Мне нужно было повернуть обратно. Но, опасаясь топкого болотца, я решил обойти его, завертелся, закрутился и, наконец, напрямик, через чащу, в ужасе понесся, куда глядели глаза.

* * *

Уже давно скрылось солнце. Огромная луна сверкала меж облаков. А дикий путь мой был опасен и труден. Теперь я шел не туда, куда мне было надо, а шагал там, где дорога была полегче.

Молча и терпеливо бежал за мной Брутик. Слезы давно были выплаканы, от криков и

ауканья я охрип, лоб был мокр, фуражка пропала, а поперек щеки моей тянулась кровавая царапина.

Наконец, намученный, я остановился и опустился на сухую траву, что раскинулась по вершине отлогого песчаного бугра. Так лежал я неподвижно до тех пор, пока не почувствовал, что передохнувший Брутик с ожесточенным упорством тычется носом в мой живот и нетерпеливо царапает меня лапой. Это он учуял в моем кармане сверток и требовал еды. Я отломил ему кусок булки, дал полкотлеты. Нехотя остальное сжевал сам, потом разгреб в теплом песке ямку, нарвал немножко сухой травы, вынул свой оловянный браунинг, прижал к себе кутенка и лег, решив ждать рассвета, не засыпая.

В черных провалах меж деревьями, под неровным, неверным светом луны, все мне чудились то зеленые глаза волка, то мохнатая морда медведя. И казалось мне, что, прильнув к толстым стволам сосен, повсюду затаились чужие и злобные люди. Проходила минута, другая - исчезали и таяли одни страхи, но неожиданно возникали другие.

И столько было этих страхов, что, отвертев себе шею, вконец ими утомленный, я лег на спину и стал смотреть только в небо. Хлопая посоловелыми глазами, чтобы не заснуть, я принялся считать звезды. Насчитал шестьдесят три, сбился, плюнул и стал следить за тем, как черная, похожая на бревно туча нагоняет другую и хочет ударить в ее широко открытую зубастую пасть. Но тут вмешалось третье, худое, длинное облако, и своей кривой лапой оно взяло да и закрыло луну.

Стало темно, а когда просветлело, то ни тучи-бревна, ни зубастой тучи уже не было, а по звездному небу плавно летел большой самолет.

Широко распахнутые окна его были ярко освещены, за столом, отодвинув вазу с цветами, сидела над своими чертежами моя мама и изредка поглядывала на часы, удивляясь тому, что меня нет так долго.

И тогда, испугавшись, как бы она не пролетела мимо моей лесной поляны, я выхватил свой оловянный браунинг и выстрелил. Дым окутал поляну, залез мне в нос и в рот. И эхо от выстрела, долетев до широких крыльев самолета, дважды звякнуло, как железная крыша под ударом тяжелого камня.

Я вскочил на ноги.

Уже светало.

Оловянный браунинг мой валялся на песке. Рядом с ним сидел Брутик и недовольно крутил носом, потому что переменявшийся за ночь ветер пригнал струю угарного дыма. Я прислушался. Впереди, вправо, брякало железо. Значит, сон мой был не совсем сон. Значит впереди были люди, а следовательно, бояться мне было нечего.

В овраге, по дну которого бежал ручей, я налился. Вода была совсем теплая, почти горячая, пахла смолой и сажей. Очевидно, истоки ручья находились где-то в полосе огня.

За оврагом тотчас же начинался невысокий лиственный лес, из которого все живое при первом же запахе дыма убралось прочь. И только одни муравьи, как и всегда, тихо копошились возле своих рыхлых построек, да серые лягушки, которым все равно посуху не ускакать далеко, скрипуче квакали у зеленого болотца.

Обогнув болото, я попал в чащу. И вдруг совсем неподалеку я услышал три резких удара железом о железо, как будто бы кто-то бил молотком по жестяному днищу ведерка.

Осторожно двинулся я вперед, и мимо деревьев со срезанными верхушками, мимо свежих ветвей, листвы и сучьев, которыми густо была усыпана земля, я вышел к крохотной полянке.

И здесь, как-то боком, задрал нос и закинув крыло на ствол погнувшейся осины, торчал самолет. Внизу, под самолетом, сидел человек. Гаечным ключом он равномерно колотил по металлическому кожуху мотора.

И этот человек был Фенин отец - летчик Федосеев.

* * *

Ломая ветви, я продрался к нему поближе и окликнул его. Он отбросил гаечный ключ. Повернулся в мою сторону всем туловищем (встать он, очевидно, не мог) и, внимательно

оглядев меня, удивленно сказал:

- Гей, чудное виденье, с каких небес по мою душу?

- Это вы? - не зная, как начать, сказал я.

- Да, это я. А это... - он ткнул пальцем на опрокинутый самолет. - Это лошадь моя. Дай спички. Народ близко?

- Спичек у меня нет, Василий Семенович, а народу тоже нет никакого.

- Как нет?! - И лицо его болезненно перекосилось, потому что он тронул с места укутанную тряпкой ногу. - А где же народ, люди?

- Людей нет, Василий Семенович. Я один, да вот... моя собака.

- Один? Гм... Собака?.. Ну, у тебя и собака!.. Так что же. скажи на милость, ты здесь один делаешь? Грибы жареные собираешь, золу, уголья?

- Я ничего не делаю, Василий Семенович. Я встал, слышу: брякает. Я и сам думал, что тут люди.

- Та-ак, люди. А я, значит, уже не "люди"? Отчего это у тебя вся щека в крови? Возьми банку, смажь йодом да кати-ка ты, милый, во весь дух к аэродрому. Скажи там поласковой, чтобы скорей за мной послали. Они меня ищут бог знает где, а я-то совсем рядом. Чу, слышишь? - И он потянул ноздрями, пригнувшись к сладковато-угарному порыву ветра.

- Это я слышу, Василий Семенович, только я никуда дороги не знаю. Я, видите, и сам заблудился.

- Фью, фью, - присвистнул летчик Федосеев. - Ну тогда, как я вижу, дела у нас с тобой плохи, товарищ. Ты в бога веруешь?

- Что вы, что вы! - удивился я. - Да вы меня, Василий Семенович, наверное, не узнали? Я же в вашем дворе живу, в сто двадцать четвертой квартире.

- Ну, вот! Ты нет, и я нет. Значит, на чудеса нам надеяться нечего. Залезь-ка ты на дерево, и что оттуда увидишь, про то мне расскажешь.

Через пять минут я уже был на самой вершине. Но с трех сторон я видел только лес, а с четвертой, километрах в пяти от нас, из лесу поднималось облако дыма и медленно продвигалось в нашу сторону.

Ветер был неустойчивый, неровный, и каждую минуту он мог рвануть во всю силу.

Я слез и рассказал обо всем этом летчику Федосееву.

Он взглянул на небо, небо было беспокойное. Летчик Федосеев задумался.

- Послушай, - спросил он, - ты карту знаешь?

- Знаю, - ответил я. - Москва, Ленинград, Минск, Киев, Тифлис...

- Эх ты, хватил в каком масштабе. Ты бы еще начал: Европа, Америка, Африка, Азия. Я тебя спрашиваю... если я тебе по карте начерчу дорогу, то ты разберешься?

Я замялся:

- Не знаю, Василий Семенович. У нас это по географии проходили... Да я что-то плохо...

- Эх, голова! То-то "плохо". Ну ладно, раз плохо, тогда лучше и не надо. - И он вытянул руку: - Вот, смотри. Отойди на поляну... дальше. Повернись лицом к солнцу. Теперь повернись так, чтобы солнце светило тебе как раз на край левого глаза. Это и будет твое направление. Подойди и сядь.

Я подошел и сел.

- Ну, говори, что понял?

- Чтобы солнце сверкало в край левого глаза, - неуверенно начал я.

- Не сверкало, а светило. От сверканья глаза ослепнуть могут. И запомни: что бы тебе в голову ни втемяшилось, не вздумай свернуть с этого направления в сторону, а кати все прямо да прямо до тех пор, пока километров через семь-восемь ты не упруешься в берег реки Кальвы. Она тут, и деваться ей некуда. Ну, а на Кальве, у четвертого яра, всегда народ: там рыбаки, плотовщики, косари, охотники. Кого первого встретишь, к тому и кидайся. А что сказать...

Тут Федосеев посмотрел на разбитый самолет, на свою неподвижную, укутанную

тряпками ногу, понюхал угарный воздух и покачал головой:

- А что сказать им... ты и сам, я думаю, знаешь.

Я вскочил.

- Постой, - сказал Федосеев.

Он вынул из бокового кармана бумажник, вложил туда какую-то записку и протянул все это мне.

- Возьмешь с собой.

- Зачем? - не понял я.

- Возьми, - повторил он. - Я могу заболеть, потерять. Потом отдашь мне, когда встретимся. А не мне, так моей жене или нашему комиссару.

Это мне что-то совсем не понравилось, и я почувствовал, что к глазам моим подкатываются слезы, а губы у меня вздрагивают.

Но летчик Федосеев смотрел на меня строго, и поэтому я не посмел его послушаться. Я положил бумажник за пазуху, затянул покрепче ремень и свистнул Брутика.

- Постой, - опять задержал меня Федосеев. - Если ты раньше моего увидишь кого-либо из НКВД или нашего комиссара, то скажи, что в районе пожара, на двадцать четвертом участке, позавчера в девятнадцать тридцать я видел троих человек, думал - охотники; когда я снизился, то с земли они ударили по самолету из винтовок и одна пуля пробилла мне бензиновый бак. Остальное им все будет понятно. А теперь, герой, вперед двигай!

* * *

Тяжелое дело, спасая человека, бежать через чужой, угрюмый лес, к далекой реке Кальве, без дорог, без тропинок, выбирая путь только по солнцу, которое неуклонно должно светить в левый край твоего глаза.

По пути приходилось обходить непролазную гущу, крутые овражки, сырые болота. И если бы не строгое предупреждение Федосеева, я десять раз успел бы сбиться и заблудиться, потому что частенько казалось мне, что солнце солнцем, а я бегу назад, прямо к месту моей вчерашней ночевки.

Итак, упорно продвигался я вперед и вперед, изредка останавливаясь, вытирая мокрый лоб. И гладил глупого Брутика, который, вероятно, от страха катил за мной, не отставая и высунув длинный язык, печально глядел на меня ничего не понимающими глазами.

Через час подул резкий ветер, серая мгла наглухо затянула небо. Некоторое время солнце еще слабо обозначалось туманным и расплывчатым пятном, потом и это пятно растаяло.

Я продвигался быстро и осторожно. Но через короткое время почувствовал, что я начинаю плутать.

Небо надо мной сомкнулось хмурое, ровное. И не то что в левый, а даже в оба глаза я не мог различить на нем ни малейшего просвета.

Прошло еще часа два. Солнца не было, Кальвы не было, сил не было, и даже страха не было, а была только сильная жажда, усталость, и я наконец повалился в тень, под кустом ольхи.

"И вот она жизнь, - закрыв глаза, думал я. - Живешь, ждешь, вот, мол, придет какой-нибудь случай, приключение, тогда я... я... А что я? Там разбит самолет. Туда ползет огонь. Там раненый летчик ждет помощи. А я, как колода, лежу на траве и ничем помочь ему не в силах".

Звонкий свист пичужки раздался где-то совсем близко. Я вздрогнул. Тук-тук! Тук-тук! - слышалось сверху. Я открыл глаза и почти над головой у себя, на стволе толстого ясеня, увидел дятла.

И тут я увидел, что лес этот уже не глухой и не мертвый. Кружились над поляной ромашек желтые и синие бабочки, блистали стрекозы, неумолчно трещали кузнечики.

И не успел я приподняться, как мокрый, словно мочалка, Брутик кинулся мне прямо на живот, подпрыгнул и затрясся, широко разбрасывая холодные мелкие брызги. Он где-то успел выкупаться.

Я вскочил, бросился в кусты и радостно вскрикнул, потому что и всего-то шагах в сорока от меня в блеске сумрачного дня катила свои серые воды широкая река Кальва.

* * *

Я подошел к берегу и огляделся. Но ни справа, ни слева, ни на воде, ни на берегу никого не было. Не было ни жилья, ни людей, не было ни рыбаков, ни сплавщиков, ни косарей, ни охотников. Вероятно, я забрал очень круто в сторону от того четвертого яра, на который должен был выйти по указу летчика Федосеева.

Но на противоположном берегу, на опушке леса, не меньше чем за километр отсюда, клубился дымок и там, возле маленького шалаша, стояла запряженная в телегу лошадь.

Острый холодок пробежал по моему телу. Руки и шея покрылись мурашками, плечи подернулись, как в лихорадке, когда я понял, что мне нужно будет переплыть Кальву.

Я же плавал плохо. Правда, я мог переплыть пруд, тот, что лежал возле завода, позади кирпичных сараев. Больше того, я мог переплыть его туда и обратно. Но это только потому, что даже в самом глубоком его месте вода не достигала мне выше подбородка.

Я стоял и молчал. По воде плыли щепки, ветки, куски сырой травы и клочья жирной пены.

И я знал, что раз нужно, то я переплыть Кальву. Она не так широка, чтобы я выбился из сил и задохнулся. Но я знал и то, что стоит мне на мгновение растеряться, испугаться глубины, хлебнуть глоток воды - и я пойду ко дну, как это со мной было однажды, год тому назад, на совсем неширокой речонке Лугарке.

Я подошел к берегу, вынул из кармана тяжелый оловянный браунинг, повертел его и швырнул в воду.

Браунинг - это игрушка, а теперь мне не до игры.

Еще раз посмотрел я на противоположный берег, зачерпнул пригоршню холодной воды. Глотнул, чтобы успокоилось сердце. Несколько раз глубоко вздохнул, шагнул в воду. И, чтобы не тратить даром силы, по отлогому песчаному скату шел я до тех пор, пока вода не достигла мне до шеи.

Дикий вой раздался за моей спиной. Это, как сумасшедший, скакал по берегу Брутик.

Я поманил его пальцем, откашлялся, сплюнул и, оттолкнувшись ногами, стараясь не брызгать, поплыл.

* * *

Теперь, когда голова моя была над водой низко, противоположный берег показался мне очень далеким. И чтобы этого не пугаться, я опустил глаза на воду.

Так, полегоньку, уговаривая себя не бояться, а главное не торопиться, взмах за взмахом продвигался я вперед.

Вот уже и вода похолодела, прибрежные кусты побежали вправо - это потащило меня течение. Но я это предвидел и поэтому не испугался. Пусть тащит. Мое дело - спокойней, раз, раз... вперед и вперед... Берег понемногу приближался, уже видны были серебристые, покрытые пухом листья осинника. Вода стремительно несла меня к песчаному повороту.

Вдруг позади себя я услышал голоса. Я хотел повернуться, но не решился.

Потом за моей спиной раздался плеск, и вскоре я увидел, что, высоко подняв морду и отчаянно шлепая лапами, выбиваясь их последних сил, сбоку ко мне подплывает Брутик.

"Ты смотри, брат! - с тревогой подумал я. - Ты ко мне не лезь. А то потонем оба".

Я рванулся в сторону, но течение толкнуло меня назад, и, воспользовавшись этим, проклятый Брутик, больно царапая когтями спину, полез ко мне прямо на шею.

"Теперь пропал! - окунувшись с головой в воду, подумал я. - Теперь дело кончено".

Фыркая и отплеываясь, я вынырнул на поверхность, взмахнул руками и тотчас же почувствовал, как Брутик с отчаянным визгом лезет мне на голову.

Тогда, собравши последние силы, я отшвырнул Брутика, но тут в рот я в нос мне ударила волна. Я захлебнулся, бестолково замахал руками и опять услышал голоса, шум и лай.

Тут налетела опять волна, опрокинула меня с живота на спину, и что я последнее

помню, - это тонкий луч солнца сквозь тучи и чью-то страшную морду, которая, широко открыв зубастую пасть, кинулась мне на грудь.

* * *

Как узнал я позже, два часа спустя после того, как я ушел от летчика Федосеева, по моим следам от проезжей дороги собака Лютта привела людей к летчику. И прежде чем попросить что-либо для себя, летчик Федосеев показал им на покрытое тучами небо и приказал догнать меня. В тот же вечер другая собака, по прозвищу Ветер, настигла в лесу троих вооруженных людей. Тех, что перешли границу, чтобы поджечь лес вокруг нашего завода, и что пробили пулей бензиновый бак у мотора.

Одного из них убили в перестрелке, двоих схватили. Но и им - мы знали пощады не будет.

* * *

Я лежал дома в постели.

Под одеялом было тепло и мягко. Привычно стучал будильник. Из-под крана на кухне брызгала вода. Это умывалась мама. Вот она вошла и сдернула в меня одеяло.

- Вставай, хвастунишка! - сказала она, нетерпеливо расчесывая гребешком свои густые черные волосы. - Я вчера зашла к вам на собрание и от дверей слышала, как это ты разошелся: "я вскочил", "я кинулся", "я ринулся". А ребяташки, дураки, сидят, уши развесили. Думают - и правда!

Но я хладнокровен.

- Да, - с гордостью отвечаю я, - а ты попробуй-ка переплыви в одежде Кальву.

- Хорошо - "переплыви", когда тебя из воды собака Лютта за рубашку вытащила. Уж ты бы лучше, герой, помалкивал. Я у Федосеева спрашивала. Прибежал, говорит, ваш Володька ко мне бледный, трясется. У меня, говорит, по географии плохо, насилу-насилу уговорил я его добежать до реки Кальвы.

- Ложь! - Лицо мое вспыхивает, я вскакиваю и гневно гляжу в глаза матери.

Но тут я вижу, что это она просто смеется, что под глазами у нее еще не растаяла синеватая бледность, - значит, совсем недавно крепко она обо мне плакала и только не хочет в этом сознаться. Такой уж у нее, в меня, характер.

Она ерошит мне волосы и говорит:

- Вставай, Володька! За ботинками сбегай. Я до сих пор так и не успела.

Она берет свои чертежи, готовальню, линейки и, показав мне кончик языка, идет готовиться к зачету.

* * *

Я бегу за ботинками, но во дворе, увидев меня с балкона, отчаянно визжит Феня.

- Иди, - кричит она, - да иди же скорей, тебя зовет папа!

"Ладно, - думаю я, - за ботинками успею", - и поднимаюсь наверх.

Наверху Феня с разбегу хватает меня за ноги и тянет к отцу в комнату. У него вывих ноги, и он в постели, забинтованный. Рядом с лекарствами возле него на столике лежат острый ножичек и стальное шило. Он над чем-то работал. Он здороваётся со мной, он расспрашивает меня о том, как я бежал, как заблудился и как снова нашел реку Кальву.

Потом он сует руку под подушку и протягивает мне похожий на часы блестящий никелированный компас с крышкой, с запором и с вертящейся фосфорной картушкой.

- Возьми, - говорит, - учись разбирать карту. Это тебе от меня на память.

Я беру. На крышке аккуратно обозначены год, месяц и число - то самое, когда я встретил Федосеева в лесу у самолета. Внизу надпись: "Владимиру Курнакову от летчика Федосеева". Я стою молча. Погибли! Погибли теперь без возврата все мальчишки нашего двора. И нет им от меня сожаления, нет пощады!

* * *

Я жму летчику руку и выхожу к Фене. Мы стоим с ней у окна, и она что-то бормочет, бормочет, а я не слышу и не слышу.

Наконец, она дергает меня за рукав и говорит:

- Все хороша, жаль только, что утонул бедняга Брутик.

Да, Брутика жаль и мне. Но что поделаешь: раз война, так война.

Через окно нам видны леса. Огонь потушен, и только кое-где подымается дымок. Но и там заканчивают свое дело последние бригады.

Через окно виден огромный завод, тот самый, на котором работает почти весь наш новый поселок. И это его хотели поджечь те люди, которым пощады теперь не будет.

Около завода в два ряда протянута колючая проволока. А по углам, под деревянными щитами, день и ночь стоят часовые.

Даже отсюда нам с Феней слышны бряцание цепей, лязг железа, гул моторов и тяжелые удары парового молота.

Что на этом заводе делают, этого мы не знаем. А если бы и знали, так не сказали бы никому, кроме одного товарища Ворошилова.

Содержание

Пусть светит.....2

Дым в лесу.....16